Дневник писателя.

I. Ритм жизни и современность

1.

Тема статьи этой—не доказательство, а—поднятие лейтмотива „сегодня“ (быть может, и „завтра“), прислушивание к звуку культуры, попытка его передать непосредственно, в отстановке от привкусов внешнего обоснования и закрепления в искусственном термине, потому что—

—есть ясность и ясность.

Есть ясность отчетливой формулы, или итога анализа; формула—завершает процесс, пресекает процесс; в такой формуле—ясность; но эта ясность есть смертная.

Знаем: скелет у живого созданья при жизни—невыявляем наружу; ведь он образован всей тканью; скелет—лишь склероз этой ткани; и кость живая—не сумма извести между тканями, а сами ткани, пронизывающие известковый состав; препарирование известняка, иль скелета, есть смерть организма, кость выделившего.

Что готово, отпрепарировано, наглядно и ясно,—в каком-то интимнейшем смысле мертво; обнаружьте понятие, объясняющее организм современности,—вы превратите живущую современность в гниющую падаль; есть ясность, которая убивает, мертвит; от поклонников этой обидной, убийственной ясности очень часто припахивает; от рассудочников—разит смертью. „Я вам разъяснил, показал, доказал“. И вы видите: слушатели затыкают носы.

В этом сущность убийственной ясности: вся она—знак того, что процессы, всем ставшие ясными, остановились, оформились, выдохлись.

2.

Сфера рассудочного истолкованья есть сфера анализа прошлого нашей культуры, иль драматическая картина, рисующая на горизонте истории человечества кристаллиза-

цию разумения, логики в недрах темного мифа; и далее видим мы—становленье из прошлого современности, разложение ее в формы, нам ясные: превращение их в номенклатуру понятий—в музей и в гербарий; и—да: очень многие исторические обобщенья—каталоги музея тысячелетий; предметы истории расставлены здесь систематично и точно; система, классификация музееведу—нужна; но всегда ли историк музеевед?

Рассудочная действительность есть итог разложения фактов по рубрикам каталожной: членение форм.

А все то, что живет, что пульсирует, дышит и любит, смеется и плачет,—недоказуемо в формулах; и из суммы простых раздражений не сложишь их целого; пусть явление слез есть продукт сокращенья желез; но когда видим мы, что ребенок заплакал над мертвою матерью, в голову нам не придет объяснять: „Произошло сокращение железы". Всякий скажет: „Ребенок—горюет". Кто горе ребенка воспримет, как факт сокращенья желез, тот себя явит трупом; и от него разбегутся, хотя он по-своему прав.

Так: „культура" в культуре есть стиль ее, ритм ее, целое, вызывающее перекличку частей; разложение стиля на элементы уподобляемо расстрижению гравюр Дюрера на сумму штришков, из которых она восстает; искрошите гравюру—увидите: „Меланхолия" Дюрера рассыпается на простые штришки; из них можно сложить не одну,—десять тысяч гравюр; „Меланхолию" сложит лишь Дюрер; можно еще подсчитать эту сумму штришков; и—представить огромною цифрою; можно даже подсчитать краски картины; и дать сумму цифр вместо ярких полотен любой галлереи; историю живописи очень просто свести к ряду сумм; и она упростится; зачем нам музеи картин, когда каждая заменяется суммою?

Вижу—читатель кричит на меня: „Не считайте меня дураком! Я прекрасно без вас понимаю, что тот, кто пытается подменить прелесть целого (колорита, сложения линий) системою знаков, есть труп".

Но культура есть целое, исчезающее в анализе частностей; и вместо целого суммы подставить продукты анализа значит—„культуру" в культуре убить.

3.

Что пульсирует, дышит, живет, чей костяк невозможно извлечь, показать и ощупать без повреждения организма,—недоказуемо, но—указуемо; и—подлежит зарисовке, которая—

воссозданье явления; объяснить точно факт—для науки (для физики, химии) значит: искусственно повторить, породить его сызнова.

Зарисовка действительности есть вторичное воссозданье: в сознании, т.-е., в образной модели явления, которая в нас всплывает; так всплыло в нас слово, в ответ на звук мира; и так электрическим светом ответствуем мы блеску молньи извне; из культуры огня и из слова—восстала культура.

Зарисовать, это—значит: пересоздать, создать сызнова.

Зарисовать пейзаж—невозможно; сложение бесконечности линий он; отображение бесконечности этой в картине—конечно; картина слагается суммой типичнейших линий, где каждая стягивает ряд линий; и—далее: изменяются на полотне все размеры; изображение точное пейзажа возможно лишь на пространстве, которое равно пространству пейзажа, где небо—пространство коперниканское; изображение 3-х измерений лишь в двух есть условность; и—наконец: мы в природе не встретим нигде наших красок; в природе—нет красок, в ней есть колорит, или—целое их.

Копировка есть воссоздание бесконечности в малом конечном комплексе; и—да: бесконечное—символ конечного.

Описание—художественное создание в символах; современность же отражаема в многообразьи сознаний, ее пересоздающих; есть два объяснения современности: одно—разложение в мертвую ясность ее; тут бежим, затыкая носы,—от непрошенного объяснителя, превращающего аромат в гнилой запах пептона; вторая стезя к объясненью—попытка участвовать в жизни, ее пропустив чрез себя.

Пусть сознание определяемо бытием; все же дано бытие нам лишь в призме сознания, вне котораго мы—бессознательны, т.-е., мертвы; а все мертвое—разлагается с выделением запахов серо-водородного и метанного газов; не отрицаю: найдутся любители запахов канализационной трубы (ведь известны замашки охотничьих псов—поваляться на падали).

4.

От убийственной терминологической ясности философских систем изжитого, вчерашнего дня несет запахом мертвечины; там термин — конечный продукт разложения; в нем часто мы видим попытку дать мир не протухший — в протухшем: и — да: философию неокантианства действительность ощутила протухшею философией; философия эта,

спасаясь от смерти, схватилася за культуру, себя объявив философией этой культуры.

Иначе мы видим попытку вернуться от формул социологического процесса, полученных из анализа прошлого, к факту переживаемого момента, в теперешнем лозунге: от отвлечения философии, подставляющей Маркса то к Гегелю, то к эмпириокритицизму, то к Канту, такая попытка зовет к „ленинизму", к стремлению исходить от конкретности революционного факта, описанного во всей сложности, чтобы нащупать отчетливо социологический ритм, управляющий миром конкретного; ведь закон дан в свершениях современности; он не вытаскивает, как костяк судака разварного — из судака разварного; закон дан нам в ощупи, не обнаруживаемой в абстракциях.

Да, закон обнажаем — для прошлого, он в настоящем есть ритм.

5.

„Ленинизм" создан Лениным. Ныне же Ленин стоит созидаемым историческим мифом, как новый герой; и таков — индивидуум коллектива, в котором слагается подлинная природа всего индивидуального.

Рассматривая монументальное здание, видим мы — шпиц; предполагать, что тот шпиц тащит здание за собой в пустоту, — пренелепо; бессмыслица эта твердится в теориях культа героев, как личностей, из которых действительность вытекла.

Шпиц же есть „шпиц" потому, что вся сумма слагающих элементов выталкивает этот шпиц; индивидуальное положенье его—в положеньи частей; также в „Я" индивидуума действует „Мы" коллективов; „Я", „Мы"—элементы огромного целого, принцип организации целого; организация расположенья частей и есть стиль построения, ритм его; ритм — организм, где закон — отношение части целого к целому.

Действительность современности, выражаемая в законах убийственной ясности—только здание, распавшееся в беспорядочный хаос частей и в абстрактнейший план, существующий лишь в портфеле у архитектора.

План — недостаточен; осуществление—зависит от материала и от сложения материала, который — в организации, в организме иль — в стиле целого; целым является современность; частями является прошлое; план воплощенный — воссозданный, пересозданный план; план в портфеле—на-

мек на свершенье; свершенье — скачок, удивляющий планиметрию непредвиденной вольностью в проведеньи деталей.

План здания осуществим в ряде планов с проэкции, где план есть закон, а ритм — целое, или система законов, где каждый разрез в любой точке прошедшего внятно рисует вариацию ритма—законность; ритм—принцип созданья законов; тот принцип ощупываем в становленьи текущего, данного, современного: прошлое—ставшее, т.-е., принцип в разрезе.

Лишь в ритме созданья законов отдельный закон объясним; ритм же в целом необ'ясняем всею суммою найденных формул закона; попытка его объяснения—обидная ясность, ведущая к явной невнятице.

6.

Описывая процессы, слагающие настоящее, часто приходится говорить только образами; нахлобучивать на настоящее формулу — значит: вещать с самомнением узости о не ясном, высвечивать непросветное; и—разбить себе лоб.

Говорить же неясно о настоящем, обратно,—не значит: не понимать природы отчетливости; ясное при анализе прошлого превращается в вовсе неясное в условиях действительного „сегодня"; так люди, неясно себе представляющие процессы отчетливой мысли, особенно любят выкрикивать: „ясности, ясности!" Эта их ясность — неясная ясность.

И мыслить — не значит: простреливать факты отставшего прошлым; нет, мыслить — отчетливо знать, где граница между отвлеченной и образной мыслью; уметь соблюдать ту границу — вот первая ясность.

Да, прошлое объяснимо—в законах, в понятиях; а настоящее — в образе; закон образности есть ритм; метр стиха — только сумма моментов его (сумма стоп); объяснение в метре всегда—объяснение целого данного,—в элементах; а объяснение в ритме всегда — объяснение стоп (элементов законов) — в строке, как построенном организме; и что в музыке — ритм, то в изобразительном творчестве — стиль; то в познаньи — со-мыслие: соединенье законов, понятий, — в созвучие их, или в смысл; понятие — дефигурирует; конфигурирует — смысл; и значение полное термина — в сочетаньи значения со всей тканью значений; в таком сочетаньи первоначальная значимость погашается, вспыхивая в со-значности: в коллективе значений; так смысл

объясняется в усложнении его значимостей; и усложнение это порою нам кажется потемнением абстрактного смысла.

Дана современность в слиянии фактов времени в целое их; и это целое есть культура; культура — неразложима; она разлагаема, как объясненное прошлое; так объяснением прошлого подменяется часто живая действительность; все наше прошлое — труп настоящего.

Выявить ритм современности — значит всегда: указать, дать ощупать; и тут отвлеченного доказательства — мало.

Эпоха имеет свой стиль, или ритм: свое целое, лик свой.

Природа старинного мифа — неясность; из этой неясности медленно выпадают в историю ясности; во многом история философии есть процесс разложения мифа в комплексы понятий; до Аристотеля и Сократа не мыслили ясно; с Сократа — замыслили. Что это значит? Да то, что под формою досократовой темноты уже зрели все формы сократовой ясности, формы мыслительности переменялись в столетиях; образы заменяли понятия.

Самые законы образованья понятий — меняются; мысль — остается; предел нашей ясности, формула, в достижениях новой ясности окажется относительной, т.-е., не вовсе ясной: окажется sui generis, мифом; мы знаем, как прошлые „боги“ погибли в понятиях нынешней ясности; и так же понятия наши погибнут, как боги былые — в понятиях завтрашней ясности, перед которою формулы наши окажутся преодоленною мифологемою; так мышленье ясно всегда в отношении к прошлому; а в отношении к будущему оно — темнота; настоящее его, стало быть — не безусловно ясно; возвести же условную ясность в закон безусловности — значит: гипертрофировать отвлеченный закон, убить жизнь современности, вытравить из нее прощупь новых возможностей, метризировать ритм; объяснить современность же в ритме — спеть песню о ней.

Нет границы меж мифом и „вовсе не мифом“; и по закону развития будет казаться всегда, что восстание прошлого скрыто за тучами мифа, которые проясняются по направлению к современности; точка блистательной ясности есть объяснение во вкусе вчерашнего дня; из нее в настоящее выпрыг — „ленинизм“, например, — точка выпрыга из вчерашнего дня в жизнь „сегодня“, к необъясненному; будущее по закону развития видится синтезом тезы (неясного) с антитезой (с понятием): прошлое видится в тучах фантазий, а близкое видится ясностью; будущее предстает неминуемо — точной фантазией, точностью кажущейся фан-

тазией быта чувства. Ведь древнему греку казалось: неясная образность мысли его — совершенная точность, уподобляемая математической доказательности; наоборот: фантастичною ясностью показались бы греку наверное формулы закона Эйнштейна.

Далеким потомкам наверно покажутся формулы нынешнего дифференциального и интегрального исчисления — мифом; и скажут: „Да, да, люди прошлого верили в двух богов: в Дифференциала и в Интеграла". Неясности мысли Платона, Плотина, которую кое-как понимаем мы, верно покажутся будущему человеку туманнейшим мраком: рождением мира из мирового яйца; а все то, что поется, что слышится ритмами в непроявленном ясно „сегодня", то станет ему абсолютною ясностью.

Каждая эпоха имеет свой сказ о рождении ясности; и этот сказ предъявляется принципом объяснения жизни; и в каждой эпохе—свое настоящее: ритм, копошащийся под обидною ясностью, чтоб из нее проклеваться к рождению.

7.

Миф „сегодня" — сознание ритма, как принципа объясненья действительности; наше время есть время узнаний о том, что неясная внятица формул — окончилась; из под нее вылезают теперь уже ясно невнятные ритмы событий, Дионис, предсказанный Фридрихом Ницше; окончил свое бытие очень-очень огромный период культуры: александрийский период, начавшийся в Аристотеле,—рождением логики; с Аристотеля и до нашего времени отрабатывалась в сознании форма; эпоха от Аристотеля есть эпоха рожденья форм мысли, мыслительных категорий, которыми регулировались процессы мыслительности.

До Аристотеля, до Сократа те формы отсутствовали; господствовало — движение; господствовал философ движения и темнот—Гераклит; принцип мысли его — принцип ритма, не формы; сам разум по Гераклиту лишь ритм изменений; тогда еще не было формы; был—хаос.

Весьма характерно: в эпоху рождения логики Аристотеля был охвачен огнем храм Дианы Ефесской; здесь рукописи Гераклита погибли, оставались отрывки; и „темными" показались они; в них эпоха до Аристотеля виделась темной эпохой сознанья, охваченного дионисическим пламенем погруженного в „беспредельное" Анаксимандра; процесс отправленья мыслительных функций был

смутный процесс; формы этого процесса — и не было, в собственном смысле.

Она появилась — потом, с Аристотеля „ясного“: уразумение наше связалося с формой; установилася логика; аппараты, понятия — отшлифовались; и выявилась диалектика; умозаключенье — господствовало сперва: в эпоху схоластики; далее — умозаключенье разбилось на части свои: на сужденья; вся эпоха суждений — эпоха эмансипации точных наук; из суждения a priori родилась метафизика; из a posteriori — наука.

И, наконец, наступила эпоха членения сужденья в понятия; установилася номенклатура понятий; сложилася методология, эта ясность вчерашнего дня.

Так слагался в истории формализм, отложивший свои иерархии понятий; склероз головы объявил себя целым; а организм — заболел.

Все, что мы формулируем—ставшее, как закон вековечного времени; вдруг—обнаружилось: времен — много; безотносительность закона во времени—все еще относительна; сам закон—отношение чего-то к чему-то (закона к закону): закон—в со-законности; форма—в движении; самое понятие о зависимости, как законе, связалось с зависимостью, господствующей в одной области математики: именно—в области непрерывных функций; и вот: современные математики доказали нам: непрерывные функции — случай из жизни функций прерывных; так сфера анализа, обусловившая неизменность закона, открытиями математиков нового времени была втянута в сферу, где норма закона — изменность, где форма—в движении.

Прояснение математической мысли и вызвало потемнение в сфере вчера еще ясной рассудочной логики, от науки оторванной; в ясностях истолкований вчерашних открылся темнейший, невскрывшийся смысл; и раскрылось бездонное лоно явлений, вчера еще ясных, как фон их, как дух Диониса (по Ницще), как чувство космических взрывов сознания; ясности оказалися оболочками бомб.

Мы живем в сфере слов: „Революция форм, революция форм! Разрушение—одной формы другою!“ Запомним: в замене форм формами — нет революции; революция тут—эволюционна; в ней следующий момент—революционен лишь потому, что он следующий, последний; в ней он же, как скоро становится он предпоследним,—реакционен; в таком представлении у революции отнята „революция“; революция здесь—энерция равномерного летенья вперед; остается тогда непонятным рельеф в жизни прошлого: и—совершенно

неясно нам: почему Пушкин выше Надсона; Шекспир—не превзойден Коцебу?

Революция вовсе не есть революция форм; она—взрывы закона, как такового,—навеки! Тот взрыв происходит в искусстве в немногих лишь пунктах, у очень немногих художников в ряде десятилетий; тот взрыв будет длиться еще очень долго, не связываясь с направлениями (до „футуризма“ все—только реакция, а с момента рождения „На Посту“—революция). Ибсен до сей поры более революционен, чем Маяковский; революционные моменты в творениях Брюсова не совпадают с моментом признания Брюсовым революции: это признание есть в творениях Брюсова только пассивный рефлекс периферическаго слоя мозга.

Действительная революция—в гибели эпохи формальных законов; и—в гибели покоя, как формы, в рождении ритма; ритм—действие, вызывающее фейерверки законностей; и ощупать ритм—возойти от модификации, от закона к огромному целому модификаций; ритм есть прорастанье законов двухмерного мира—в трехмерный, в четырехмерный, в мир энного количества измерений, и тот, кто противится взрыву времен из разорванной линии времени, тот будет ритмом разорван—в безумие; ясность его превратится—в неясную, в сумасшедшую ясность.

8.

Идея диалектического развития—не закон; в ней вернее дан образ неясно прощупанного лейт-мотива культур; в ней есть что-то ритмическое; не она ль отражается в Марксовой схеме, где явны три стадии: теза, антитеза, синтез; здесь первобытная коммуна являет первичную данность единства труда, капитала, процесса, продукта; вторая же стадия рисует историю сложения производств, фетишизм производств, антиномию меж процессом труда и продуктом, иль вещью; культуре вещей соответствуют культы формы; слагается иерархия классов; капиталистическая культура являет собой разложение цельной, первичной культуры—в цивилизацию, соответствующее разложение образа в формы понятий; неясное равенство преодолевается в ясность неравенства; третья стадия—обобществленье орудий—уже выявляет из формы процесс, из закона—под ним скрытый ритм; в капиталистическом обществе пролетарий является, как продукт разложения старой культуры; и—как предел разложения; в нем откладывается предельно ясное представление о социальном неравенстве; в сознании этом рождается

итм революции, опрокидывающий формализм капитала; революция социальная есть начало огромного выпрыга в царство свободы, которая до конкретного осуществления социализма есть... что?

Когда Энгельс гласит о том выпрыге, хочется мне вопросить: выражение „царство свободы“ есть... что? Аллегория иль — указание на реальность чего-то? Коли то аллегория, революция социальная—лишь предел эволюции: эволюция в самой „революции“; коль „свобода“ реально вскрывается в „царстве свободы“, то царство свободы уже есть в настоящем; рождение предполагает зачатие, а ребенок—родителей; семя „свободы“ в каком-то значеньи дано в несвободе; раскрытие полное этой свободы сравнимо, естественно, с выбиваньем наружу потока, текущего где-то теперь еще в формах, уподобляемых водопроводным трубам, перегоняющим струю свободы под всеми формами рабства.

Струя той „свободы“ в прошедшем и в настоящем—невидима в ясных законах; законы теперешней ясности это—законы стареющего буржуазного мира; свобода дается, как темная прощупь, рассудку невнятная в них; имя прощупи—ритм.

Под градацией иерархически расположенных и рассудочных категорий, отчетливо отражающих иерархию классовых форм, смутно чуются формы иные: за формами статики—формы динамики.

И эти формы суть—ритмы, пульсации, становления: в чем они есть, существуют и в чем существовали доселе? В страннейших, как бы бесполезнейших оболочках, которые не применимы к условиям закономерной действительности; эти формы—искусства; закон выраженья искусства есть ритм; и формальное отраженье его не в познании: только в стилистике; при рассудочном познавании мы разлагаем комплексы явлений на элементы; и объясняем комплексы сложением из элементов; обратное: при стилистическом восприятии мы оцелостниваем отдельные элементы в характере связи меж ними; стиль есть возведение к цельности, преломляющей элементы друг в друге; абстрактное представленье о ритме—родит представленье о средствах и цели, где средства суть части, а целое—цель; целесообразность—абстракция цельности.

Обобществление производств, опрокидывая культуру статических форм, выявляет культуру трудов или сил, построяющих формы; приравнивая процесс труда к ценности, мы еще в сфере старой культуры; перенести знаки

ценности от продукта к процессу не значит еще взорвать форму, а значит: сменить форму формой; труд ждет еще цельной системы трудов; труд всегда только символ не вскрытого ритма, как творчества: чего? Форм? Нет,—самой человеческой жизни, своей и чужой: претворение человеческих отношений в их бытах, привычках, инстинктах и даже в законах.

И ритм есть неясное в ясном; он слабый зародыш во чреве, его не родившем; так чувство биения царства свободы в утробе теперешней жизни,—вот ритм современности, ритм революций.

Сказал Герберт Спенсер о музыке: в ней горизонт неоформленных отношений; безобразна музыка; и рассказать о ней внятно — нельзя; не объяснишь суть мелодии; всякая программа мелодии явный обман, затемняющий язык ритма; он темен рассудку при всей своей внутренней ясности.

Царство свободы должно сочетать: гераклитианскую музыкальную темноту с трезвой ясностью Аристотеля; в Аристотеле, в ясности, пробуждается вновь Гераклит „темный“, ритм; Гераклитову сферу неясного, хаотического прорезает впервые струя светлой логики; и трезвый труд должен скоро стать ритмом творящим; но ритм облечется не в звуки, а в жизнь, где симфонии, музыка, объяснится—в материи социального творчества; или обратно: вся сумма трудов претворится в восстание нового организма, где „Мы“ всех людей сложат „Я“ восходящего человечества; воплотившийся ритм нами мыслим раскрытием, преломлением, умножением, прорастанием каждого „Я“—в каждом „Я“, передающим биение общего сердца по всей безконечности жилок.

Теперешний ритм, или семя неясного под оболочками ясных иссохшихся форм,—прорастет, дав цветы новой ясности.

Смутное ощущение ритма свободы—в дерзаниях катастрофы, постигшей недавнюю трезвую, битую ясность; умение положить вполне четко границу меж ясным и темным, умение выжидать проясненья звучащего ритма, забившего в бреши пробитых понятий,—вот стиль современности.

От кладбищенской статики к динамизму, от формы в стоянии к форме в движении, от функции непрерывной—к прерыву, к скачку, к революции в самых понятиях революции, от понятия к музыке, от законности к ритму законов—вот путь современности; выродившаяся аристотелианская ясность охвачена пламенем Гераклита; и образуется в только что бывшем — огромная бездна; там—Мертвое море, поднявшееся на Содом.

9.

Исходя из огромности переломной эпохи, мы ждем в близком будущем соответственных отражений в искусстве: и новое творчество носится в воздухе; революция в сфере искусства—давно началась; во второй половине истекшего века произведения величайших художников нам порою казались сейсмографами, указующими: землетрясение—есть; революция в сфере искусств будет длиться года.

В произведениях будущего воплотятся черты ритма времени: будет сломана статика нынешних форм; обнаружится „форма в движении“ вместо „формы в покое“; не будет романов, поэм, повестей или драм в нашем смысле; появятся синкретические гротески; исчезнет, наверное, быт в нашем смысле; быт—статика; он—равновесие успокоенной жизни; до нового быта — путь долог; десятилетия, может быть и столетия нас отделяют от него. Произведения новых бытовиков не являются отражением времени; относимы к давно прошедшей эпохе они; революционного быта ведь нет; быть не может искусства, основанного на „фабрикованном“ быте; устроиться с „бытом“ в стихии безбытности—значит: в полете, взвивающем все, не забыть про свой скарб; это значит: устроиться с самоварчиком на ковре-самолете; и дуть „чай вприкуску“, перелетая над Этнами; бытовики революции — интереснейшие фотографы, собиратели материала по прошлому быту, еще не дожженному революцией; литературная запись их—мемуары о прошлом; но... но: современные бытовики—„революционеры“-ль в искусстве они?

Есть инерция, вытекающая из покоя всех атомов; и инерция, обусловленная параллельным и равномерным движением их; „быты“ мирного времени — инерция первая; революционный „быт“—инерция типа второго.

Толчок, полет, взрыв, разрыв статики „быта“ и между прочим — революционного „быта“ — вот, что революция; „бытовики“ революции в литературе „сегодня“ доказывают: в них революции нет—раз они преудобно устроились на платформе, прицепленной к паровику (к революции), отопленному не углем, а пылом сознания, которому не до твердого „быта“. Психология их „бытовиков революции“ уподобляема сиденью в кафе, иронически утверждающему полет жизни к созвездию Геркулеса (с землею и всею системой планет); устроить комфорт свой в моменте „сгорания“, постараться сгорать комфортабельно, это —

пародия. В бытовиках революции непроизвольно себя выдает — стиль пародии.

„Бытовики революции“ вносят трезвые принципы ложно-классического реализма во время, которое для этого реализма Эйнштейном разорвано; „жив — жив“ курилка вчерашней планеты, разорванной взрывом; с прикуской дует свой чай, пишет „быт революции“, ограничивая поле своих наблюдений над малым клочком былой сферы старинного быта, теперь называющейся „Смоленский рынок“, иль „Сухаревка“; году в 19-м, проходя по „Смоленскому рынку“, увидел я надпись на лавочке: „Все для желудка“; и я подошел посмотреть, что же — „все“ (мой желудок был пуст); я увидел—пустые бутылки с наклеенными ярлыками когда-то в них бывших „субстанций“— без оных „субстанций“; литературные полотна, рисующие в революции „быт“, мне отчасти напоминают „пустые бутылки“ с претенциозной наклейкою: „Спекулянты Смоленского рынка“, „Иваны Иванычи“. Иванов, занявшийся чисткой клозета, поступивший служить в Наркомпросс; и так далее; да, — „мещанин“ в революции появляется на наклейке бутылки, давно потерявшей субстанцию; окрашиваемая „субстанция“ быта не есть революция, а футляр без субстанции, или — „пустая бутылка“, которая в сфере действительной революции раскололась, которая билась еще до войны; ее били и Ницше, и Ибсен, и символисты, и Горький; не били Потапенки, Чириковы, а теперь на небитой бутылке, доставшейся в скарбе их, „бытовик“ прекурьезно порою наклеивает ярлык, размалеванный красками „самоновейших художников“ — с надписью: „Революционный быт Советской России“.

Динамику революции так стремятся использовать часто „бытовики“ революции для создания „статики“ в сфере, где статики нет.

Есть иное течение, стремящееся создать всю иллюзию „формы в движении“; оно объявляет себя революцией форм; форма старого времени сломана; новая форма, которая будет сломана тоже, сменила ее; в самом деле: традиции утопического реализма давно исчерпали себя; символизм их сломал; символизм же сметен футуризмом; а футуризм оборвался Октябрьскою революцией, выдвинувшей пролетарских поэтов; но — далее: пролетарское творчество эпохи 1918—1920 годов еще складывалось под знаками допролетарской эпохи; теперь лишь рождается подлинное пролетарское творчество, которое не сложилось еще; и уже—

сомневаются в том, что оно отразит стиль идущей навстречу культуры; ай, ай — революция форм в революции русской приобретает воистину бешеный темп, учиняя в одной революции сотни их; новая революционная форма ломается новою революционною формою, в ней созревающей; энное количество революционных течений, грызущих друг друга; уж творчество пролетариев заподозрено „Лефом“; сам „Леф“ — заподозрен; подумаешь: „революции“ в сфере искусств опередили настолько отставшую революцию русскую, что воистину их хватило-б не только наполнить грядущее взрывами до „скончания“ нашей планеты, но и свершить революцию на планетах созвездия Геркулеса, к которым мы спешно летим, предводительствуемые... „биокосмистами“...

Художники, радикально рвущие с прошлым, устанавливающие между собой и искусством вчерашнего дня революцию, отделены от художников, пребывающих в колыбели, такой же границей; художники, сосущие соску сегодня, объявят художников „Лефа“ отставшими: до революции эти последние появились на свет; и вскормлены,—не ею они.

Так революция приурочена к пункту во времени; не к Октябрю, а ко взятию Зимнего Дворца по астрономическому времени; секундою ранее—длилось старое; секундой позднее — все новое: сразу! Под революционное искусство, опять таки, подставляется не разрыв самой формы, а кинематограф из форм: каждый миг нарождается новая форма — все прежние гибнут; в сведении революции к моменту художники эти самих себя сводят лишь к точке, отказываясь от формы в движении; так становятся формалистами; всё — лишь прием, лишь ужимка, лишь маска.

А крайние критики „На Посту“ объявляют, что контрреволюция—все наследство культуры до... „царства свободы“; оно—не достигнуто, следовательно: искусства и нет, оно будет из... из... ничего: одностороннейший мистицизм! Эти критики диалектически вынуждены: отрицать пролетарское творчество, как возникающее в условиях до-социалистической жизни; но они подчеркивают значение этого творчества; стало быть: подчеркивают значение вне-пролетарских форм творчества, складывавших последнее; но они объявили реакционным непролетарское творчество; стало быть: должны они сделать последний свой вывод: назвать пролетарское творчество утонченьем реакции; критики эти, воистину — самосжигатели, мистики.

От них отделяема группа рабочих поэтов, в произведениях которых есть ритм современности; в изощрениях

стихотворений В. Казина—поэзия, покоряющая нас рождением нового ритма; в движении форма стремится себя осознать.

Но ритм нов и у Блока.

Теперешние группировки художников по теченьям — случайны; и контр-революционеры по форме порою певцы революции; революционнейший Ибсен не раз принимался за контр-революционера; присутствие ритмов грядущей культуры, отсутствие их не имеет отчетливой связи с банальною группировкой на школы; взрыватели были в искусстве вчерашнего дня; контр-революционеры таятся под гримами „революционнейших“ лозунгов. Демаркационная линия проводима совсем не по группам и школам, — а по отдельным моментам в твореньях отдельных художников.

В будущем свяжутся в гамму цветов все отдельные революционные краски; воистину: опускание континентов культуры, поднятие новых свершается не по щучьим велениям; так, революция, наша вбирает в себя перевороты всех сфер: экономики, общественных отношений, наук, производств, вкусов, чувств, мысли, воли; чтоб стать отразителем кризисов, надо учиться: не только пылать и кричать, донося на других.

Самый крупный дефект — ограниченность кругозора; чтоб быть дерзновенным новатором, мало „пылать“, надо— „двигать мозгами“, ритмически двигаться; перенести в быстрый ритм носорожью стопу допотопного быта, не значит еще отражать революцию. Бытовики революции проваливают революцию в ледниковый период, а насадители насильственных формальных приемов давно оскорбили величие революции революционной ужимкой мартышки с „очками“.

У них превращение революции, плавящий метод, лишь в метод—кощунственно.

Революция—операция снятия катарракта на глазу художника; иначе вынужден он прибегать к симуляции зрения: присоединением к катарракту „квалифицированных“ революционных очков.

Андрей Белый.